

АННА ГУРИНА
ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ИГРЫ



Анна Николаевна Гурина

Обратная сторона игры

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68415130

Обратная сторона игры. Рассказы и повесть: Издательский центр

МБГ; Оренбург; 2022

ISBN 978-5-907502-93-2

Аннотация

«К вечеру дождь закончился, и теплый ветер нагнал туман. Он укрыл плотной вуалью низкий забор с колючей проволокой, деревянные вышки с часовыми, фигуры осужденных и черные деревья в саду. Стало пасмурно и тоскливо. Кто-то из охранников включил прожектор, и его мощный луч превратил туман в прозрачный дымчатый занавес, за которым бараки, вышки, забор и деревья казались размытыми, словно в кошмарном сне.

Я стою на КПП перед железными воротами зоны...»

Содержание

Шутка	5
Он	17
Страх	22
Танго[2]	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Анна Николаевна Гурина

Обратная сторона игры

© Анна Гурина, рассказы и повесть, 2022 г.

© Издательский центр МВГ, 2022 г.

Шутка

Нравственность общества определяется его отношением к детям.

Дитрих Бонхёффер

Илью Моисеевича арестовали в новогоднюю ночь в половине третьего утра. Пришли за ним двое чекистов, одетых в великолепные двубортные пальто-реглан с отложными бобровыми воротниками, в меху которых медленно истаивали белые островки снега, предъявили ордер и велели жене быстро собрать мужу теплые вещи. Обыск, как полагается в таких случаях, не проводили, а остались ждать в прихожей. Из-под желтых тупоносых ботинок на высокой шнуровке натекли на пол грязные лужи, и вскоре натертый «до медовой слезки» паркет оляпался крупными мужскими следами.

Через десять минут Илью Моисеевича вывели под руки из подъезда, провели по узкой дорожке палисадника, где сверкали белизной крутобокие засахаренные сугробы, испещренные полозьями салазок, и, нагнув ему голову, запихнули в черный воронок. Оглушенный произошедшим, до конца не понимая, что с ним происходит, посмотрел Илья Моисеевич в ярко освещенное окно их комнаты и увидел жену Раю с двухлетним Борей на руках. Он машинально поднял руку, чтобы помахать им, как махал всегда, когда утром уходил на

службу, но в этот момент машина дернулась, и окно скрылось за пеленой метели. Илья Моисеевич опустил голову в колени и заплакал.

Двор опустел.

Проводив глазами машину, жена Рая отошла от окна и уложила в кровать сонного сына. Затем выключила свет и села к опустевшему столу. В комнату вползла мутная серость зимней ночи, в которой угрожающе темнели разбросанные по скатерти вилки и ножи, тарелки с остатками еды, шоколадные конфеты в ярких обертках и слюдянистый горб огромного, словно кит, холодца. Чужие запахи одеколona «Командор» и дорогих сигарет, тянувшиеся из прихожей, странно смешивались с ароматом оставленной трапезы и терпким духом свежесрубленной елочки. На столе лежали забытые мужем латунные часы на потертом ремешке – ее первый новогодний подарок; время на них остановилось на половине третьего. Она взяла их в руки и начала заводить, но оторопь от случившегося настолько овладела ей, что пальцы стали крутить колесико не вперед, а назад.

С Ильей Моисеевичем Рая познакомилась в тридцать втором, за две недели до Нового года, в парикмахерской, где она с девяти до семи бриолинила, завивала и стригла. Когда Рая мыла его голову, он назвал ее руки «лилейными». Она не поняла, что это, но само слово ей очень понравилось. Сроду она ни от кого не слышала комплиментов – Рая была рыхлая, бесформенная, с жиденькими волосами, бледными щеками

и губами. Мать называла ее «рыба камбала».

После парикмахерской пошли гулять. Даже сейчас, спустя восемь лет, Рая помнит каждый поворот той прогулки: оснеженную узенькую Тверскую с часовенкой Иверской Божией Матери в Охотном ряду, редкие стонущие трамваи, продавщиц «Моссельпрома» в замысловатых шапочках с золотым шитьем, торгующих с лотков шоколадом и папиросами «Ира», длинную и веселую очередь у касс МХАТа, бурлящую, переливающуюся огнями Сухаревку с бесконечными палатками, ларями и лавками, кафе «Пегас» на Страстном, где подавали дымящийся чай и калачи с сахаром.

Илья Моисеевич, чудовищно размахивая длинными руками, страстно рассказывал Рае, что он ученик самого Бернарда Кажинского и сейчас работает в НИИ над проектом «мозгового радио»:

– Понимаешь, это нечто неслыханное! Мы создали аппарат, который способен воспроизводить импульсы головного мозга, превращать их в звуковые сигналы и передавать на значительные расстояния! Видишь ли, человеческий мозг очень схож по строению с радиоаппаратурой: точно такие же катушки, сетки радиоламп, антенны, конденсаторы... И получается, что один человек через специальный аппарат может передавать другому мысли на расстоянии, то есть, попросту говоря, внушать их, а второй будет им следовать, как будто мысли пришли к нему сами. Понимаешь, да, о чём я говорю? – на этих словах Илья Моисеевич жадно заглядывал

в лицо Рае, как будто речь шла о вечернем сеансе в кинотеатре «Аврора».

Рая мужественно кивала. Она ни слова не понимала, но признаться было неловко. Илья Моисеевич аккуратно придерживал ее за локоток, когда они пробирались сквозь толпу на Сухаревке, открывал перед ней дверь в кафе, а когда вставали из-за стола, галантно поцеловал ей руку. Сердце Раи билось, как простыня на ветру, и она согласна была слушать его и дальше, лишь бы он не уходил. А еще ей было его очень жалко: худющий, с гусиной шеей и порезами от бритвы, с мешками под глазами, одет плохонько – сразу видно, что нет женской руки: котиковый воротник вылинял и напоминает драную кошку, ботинки без калош и в дырках, на рукаве громадное чернильное пятно.

– ...Поражать противника, не вступая с ним в открытый бой, – это мечта всех военных стратегов с древнейших времен! – задыхался от волнения Илья Моисеевич, наступая ногой в рыхлый сугроб и не замечая, что ком снега набился ему в ботинок. – Манипулирование сознанием! Абсолютный контроль над людьми! Повышение производительности труда, сплочение нации на великое дело! Мы будем внушать человеку только добрые, правильные мысли, и на земле больше не будет ни зла, ни убийств, ни войн! Наступит эпоха коммунизма! – Но после этих слов лицо его странно суксилось, будто бы он собирался заплакать. – Только ОГПУ лабораторию мне не даёт! Я каждый год пишу и им, и в Нарко-

мат обороны, и даже лично Сталину писал – молчок. Пару раз вызвали на Лубянку, спрашивали: можно, мол, человеку на этом аппарате внушить «правильные мысли»? Сказал, да, конечно, давайте пробовать, проводить эксперименты! А они после этого опять замолчали. Чертовски обидно.

Рая слушала его, кивала в паузы и думала о том, где они будут жить.

В тридцатом году мать Раи получила от рабочего кооператива, где служила кухаркой, маленькую комнату на Малой Бронной. Когда молодые расписались, она собрала чемодан и уехала к сестре покойного мужа на Дальний Восток. У матери Рая научилась превосходно готовить и с первого же дня баловала мужа нежными расстегаями, кулебяками, фаршированным запеченным картофелем и наваристым борщом с желтой сметаной. К ужину Илья Моисеевич приводил с собой коллег – слух о Раечкиной стряпне со скоростью телепатии распространился по НИИ. Муж и его коллеги молотили все, что стояло на столе, пили водку, курили за столом, рассыпая пепел на пиджаки и скатерть, перебивали друг друга, как на одесском Привозе, и густо пересыпали свою речь непонятными для Раи фразами: «реакционные ученые», «психотронное оружие», «мозговое радио». Тугой синий смог поднимался к высокому потолку, в комнате было душно и тяжело, а Рая сидела в сторонке на продавленном диване и задыхалась от счастья.

Ночью, если Илье Моисеевичу снился кошмар, он плакал,

как ребёнок, и стонал: «И-и-и-и-и». Тогда Рая обнимала его огромной рукой, а он утыкался ей в дынную грудь, и на лице его тотчас же разливалось блаженство, какое бывает у верующих, когда они прикладываются к иконам. И после этого он спал тихо, чмокая во сне губами.

Безоблачность омрачалась отсутствием детей. Врачи разводили руками и на слезы Раи выговаривали, что ей за тридцать, а мужу полтинник, так что поезд ушёл. Но Рая не сдавалась. По совету подруг она в определенные дни пила лимонную воду и уксус, держала под подушкой крестик, а однажды достала с огромным трудом святую воду и каждый вечер брызгала её на кровать – правда, спать потом было мокро. На шестой год беременная сотрудница парикмахерской посоветовала ей деревенскую бабку, у которой сама лечилась от бесплодия. Бабка жила далеко – за девяносто километров от Москвы, в крошечной деревеньке Орехово-Зуево – и принимала по странному графику: в предрассветные часы. Чтобы попасть к ней в назначенное время, Рая выезжала из Москвы еще с вечера, добиралась на попутках до Павловского Посада, а потом шла двадцать километров через лес. Но бабка сделала свое дело – через год родился Боря.

На кровати проснулся и заплакал мальчик. Рая положила на стол часы и легла рядом с Борей. Сын по-хозяйски достал из комбинации тяжелую грудь и присосался к крупному темному соску. Рая приподнялась на локте и стала неотрыв-

но смотреть на безмятежное личико. Сын уперся ручками в грудь и глядел на неё с обожанием, не моргая, всем телом втягивая в себя молоко.

Утром за ней придут. Дадут срок как жене врага народа. Повезут в телячьих вагонах в пересыльную тюрьму, а оттуда по этапу погонят на Сахалин или в Воркуту. О судьбе мужа она никогда не узнает. А Борю отдадут в спецдетдом – в «мамочкин лагерь».

Судьба, как стрелка часов, совершив круговой обход, возвращалась к началу. К воздаянию за содеянное.

Об этом содеянном не знал никто, кроме Раи.

В двадцать седьмом они с матерью жили на Дальнем Востоке, в селе Волочаевка, среди серых сопок, редких лесов и обмелевших рек. Ближайший колхоз находился в девяти километрах, и ранним утром женщины шли туда по грязи и снегу, а поздним вечером возвращались обратно. Еды было мало, картофельные очистки ценились на вес золота, в помол добавляли траву, летом варили пустые щи из крапивы. Рая была хилая, опухшая от голода и на работе быстро утомлялась. В колхозе на неё косились. Однажды председатель вызвал ее к себе и предложил устроиться нянькой в спецдетдом Хабаровского Дальлага. Платили там хорошо и давали сверх жалования продуктовые карточки, но работа была сложной – одной без выходных ухаживать за маленькими детьми. Рая с матерью просовещались всю ночь, а наутро решили, что хуже уже не будет, и двинулись в путь. На следующие сутки

Рая приступила к работе в «мамочкином лагере» – в бараке, где жили дети осужденных женщин. Было там около тридцати ребятишек – от года до шести лет, невероятно запущенных, побритых налысо, с раздувшимися от голода животами, с гноящимися чирьями. Рае надо было их накормить, одеть, повести гулять, уложить спать – работы было слишком много, крутись как хочешь, тут уж не до жалости. По утрам, чтобы успеть накормить всех, она привязывала каждого малыша к кровати полотенцем, ставила рядом кастрюлю, только что снятую с огня, и, как индюка, напихивала его пылающей кашей. Затем переходила к следующему. По ночам дети плакали, звали маму и писались от страха. Рае приходилось по восемь, по десять раз за ночь вскакивать, и через две недели она озверела от бессонницы. Тогда наутро каждого, кто описался, она заворачивала в матрас, как колбасу, и трясла за ноги, чтобы моча стекала на голову, а если кто-то из малышей ходил под себя по большому, заставляла съесть экскременты. За баловство она секла их летом крапивой, а зимой прутьями. Вначале Рая относилась к этому как к вынужденной необходимости – дети шалили, мешали ей работать, но позже, когда они моментально стали выполнять приказы, дрожа от страха, готовые в любую минуту броситься к её ногам, лишь бы их не били, – вот тогда Рая почувствовала власть. В детстве над ней смеялись, мать дразнила за излишнюю полноту, в школе учительница била ладонью по голове и кричала «бестолочь!». Теперь же все стало иначе.

Совсем иначе.

Рая перестала сутулиться, походка ее выровнялась, а на вечно бледном лице проступил румянец; окружающие стали говорить, что она похорошела.

Рая отработала в «мамочкином лагере» три года, а потом барак расформировали. За хорошую службу ей дали в Москве комнату, устроили мать в рабочий кооператив кухаркой и велели всем говорить, что комнату они получила от кооператива.

Теперь то, что она творила с чужими детьми, будут делать с ее сыном.

Их ласковый, зацелованный мальчик, который по утрам шлепает босиком в ванную, еще сонный, еще теплый и розовый, с отпечатком подушки на щеке, такой вежливый, такой покладистый – всегда уступит соседям очередь, не то что другие дети. Чьи грубые руки станут его одевать? Кто объяснит, куда подевалась мама? Кто обнимет его с утра, кто поцелует на ночь? Кто слепит с ним снеговика во дворе? Ее мальчика станут бить крапивой, заставят есть дерьмо. Если он заболит – будет умирать в одиночестве, если выживет – научится воровать, материться, пить водку. Выйдя из детдома, попадет к блатным, затем – преступление, лагерь, может быть, короткая свобода, а потом снова пересыльная тюрьма, и так до бесконечности, по кругу, пока однажды кто-то не убьет его в пьяной драке или не застрелит во время побега. Ласковый, нежный мальчик, рожденный в любви и для люб-

ви, что же за жизнь ты проживешь? Жизнь, в которой каждый день преисполнен сожаления. За материнские грехи ты понесешь расплату.

Ребенок, наевшись, уснул. Из открытого треугольничком рта выпал сосок. Рая вдруг почувствовала за спиной странное шевеление. Она обернулась и увидела детей из того барака: они столпились возле её кровати и тянули руки к Боре. Глаза их были стеклянно неподвижны, а рты с черными от цинги зубами ухмылялись.

Как безумная, вскочила она с кровати и заметалась по комнате, кусая руки. Упала на колени и стала молиться:

– Господи Иисусе, прости меня... Не дай Бореньке этой жизни! Господи, не мсти мне. Не мсти!

Она билась головой о паркет, словно пытаясь достучаться до Бога, но изнутри поднималась не молитва, а что-то иное, какое-то другое решение, облечь которое в слова и действия у Раи не получалось. Она снова вскочила и стала ходить по комнате, беззвучно крича, как в немом кино. Дети по-прежнему стояли в изголовье её сына и тянули руки; на шее одной девочки она увидела багровый след от верёвки – это Даша, ей было семь, когда она повесилась в туалете. И вот тут Раю осенило! Мука, шедшая со дна души, наконец, обрела решение: если она не в силах изменить судьбу сына, она её перехитрит. Мальчик не понесет расплату. Глупые наглые дети не получают воздаяния. Она им его не отдаст!

Рая медленно протянула руку к подушке. Несколько се-

кунд пристально смотрела на уснувшего ребенка, у которого губки влажно блестели, а затем резко, словно боясь раздумать, прижала подушку к бело-розовому зефирному лицу сына. Маленькое тельце вздыбилось, крошечные ручки и ножки заметались по кровати, глухой крик повалил из-под подушки. Рая с тупым окоченевшим лицом, глядя неморгающими глазами в одну точку, наваливалась на подушку всем своим большим рыхлым телом. Через несколько секунд все было кончено. Когда она повернулась и посмотрела на комнату, то стоявшие возле кровати дети исчезли. Рая рассмеялась. Она победила. Утерла нос Богу, возжелавшему наказать ее.

Отсмеявшись, она медленно отвела подушку от лица Бори. Хрустальные кукольные глазки в удивлении смотрели в потолок, на нежной коже проступил алый румянец, шелковые губки раскрылись, и крошечная струйка слюны выкатилась на подбородок. Рая закрыла сыну глаза, поцеловала в нежную пухлую щечку и легла рядом.

Застыла.

В семь часов утра в квартире раздался звонок. Она равнодушно спустила с кровати ноги, встала, распахнула дверь.

На пороге покачивался пьяный Илья Моисеевич с сеткой мандаринов в одной руке и бутылкой шампанского в другой. В коридор выглядывали заспанные, ошарашенные лица соседей.

– Мне в ОГПУ лабораторию дали! – завопил он, размахи-

вая мандаринами и шампанским. – Всё по высшему разряду, НКВД лично курирует! Ты представляешь, кто-то предложил надо мной подшутить в воспитательных целях, чтоб, мол, я место своё знал, не высывался. Ха-ха-ха-ха, а я обосрался! Что с тобой, Рая? Рая! Кто-нибудь, помогите! Помогите ей!!! Она в обмороке...



Он

Он был уже не молод и не красив: короткий седоватый ершик, морщинки вокруг глаз, неровная линия губ. Но сквозило в его облике – в повороте головы, в походке, в осанке, даже в том, как он держал тонкими пальцами чашку кофе, – сквозило нечто невыразимо чарующее, магнетическое, нечто такое, что, кажется, и нельзя описать словами. Что бы он ни надел – белую футболку ли, костюм ли, или обычную пляжную рубашку с шортами, – все сидело на нем ровно и гладко, словно бальный наряд. При взгляде на него в памяти всплывали старинные английские поместья, запущенный сад, пансион для мальчиков, музыкальный салон матери – канувшая в Лету эпоха, где дамы переодевались к обеду, а мужчины правили миром.

Он отдыхал в отеле с подругой. Она была из той редкой породы женщин, чей возраст сложно поддается определению. Был ли то дар природы или гениальная работа хирурга, но выглядела она одновременно и на тридцать пять, и на сорок, и на пятьдесят пять. В одежде ее была та легкая небрежность, какая присуща очень богатым женщинам, но подушечки пальцев у нее были стертymi, а ногти короткими, что выдавало в ней пианистку или писательницу, а значит, человека, кормящегося трудом. По утрам, прогуливаясь по Английской набережной, я видела, как они сидят на балко-

не: он читает ей вслух книгу, а она слушает с улыбкой, подперев голову рукой, не сводя взгляда с зеркальной поверхности лазурного моря, в нескольких местах изрезанного белой пеной корабликов и яхт. На спинке стула среди брызг сиреневой лаванды и ванильно-розовых пионов, поднимающихся из напольных стеклянных ваз, висела её широкополая соломенная шляпа с длинной черной лентой; ветер вздувал её, и она трепетала, вытягиваясь вверх, тщетно пытаясь оторваться от тонкой иглы серебряной броши.

Я заметила, что он ни на минуту не оставлял подругу одну. Когда ранним утром она плавала в бассейне, он сидел в баре и следил за ней глазами, но как только она подплывала к бортику, забирал с лежака сброшенный халат и распахивал для неё, выходящей из воды. На завтраке они ходили вместе по огромному ресторану и брали одинаковую еду. В полдень, когда она играла с инструктором в теннис, он пил на пустой трибуне мартини со льдом. Мне нравилось смотреть, как он поднимал с земли мячики и кидал их обратно. Это был красивый взмах подтянутой спортивной руки – четкий, как у скульптуры. Он был ощутимо старше ее, и забота о ней чувствовалась в каждом повороте его головы, импульсе тела. Взгляд его все время выражал озабоченность – не голодная ли она? не устала? не болит ли спина или голова? Я не знала их имен, не знала, откуда они; несколько раз я услышала, как он по-французски обращался к ней «душа моя», а она в ответ звала его «ангел мой». Это было нежно и по-старо-

модному, без всякого зоопарка.

Однажды на пляже я увидела, как она плачет подле него. Обычно мужчины или теряются от женских слез или сердятся, а он усадил её к себе на колени и гладил, как маленькую, по голове, что-то ласково нашептывая на ухо. Затем она откинулась на лежак, а он стал массировать ей ноги.

Движения его пальцев говорили о том, что он знает каждый секрет ее тела, – они с нежностью скользили от бедер, припорошенных белой накидкой, к красным ноготкам и обратно. Окончив массаж, он поцеловал её острые худые колени; в этом поцелуе не было страсти или заискивания – скорее так родитель целует ножки ребенка. Затем она разделась, и они пошли к морю. Я видела, как две головы – седоватый ершик и широкополая соломенная шляпа с черной лентой – плыли в лазурной воде к дальним камням. Они вернулись через полчаса и купили у торговца-араба желтое манго. Когда они ели фрукты, сок тек у них по подбородкам и смешивался с соленой водой и песком на груди. Они смеялись и влюбленно глядели друг другу в глаза.

На четвертый день моего отпуска метрдотель за ужином посадил меня рядом с их столиком. Огромный белый зал, украшенный подлинниками Ренуара и Дали, ярко освещенный массивной люстрой Баккара, был переполнен нарядными женщинами. Мужчин здесь не наблюдалось – прекрасные дочери Евы давно научились обходиться без них. Таперша на эстраде играла что-то итальянское, женщины фотографи-

ровались, целовались, трепались по телефону; тонкий запах *rôté de foie gras*¹, смешанный с пряностями и морепродуктами, поднимался к стеклянному куполу вместе с пустым смехом и перезвоном бокалов, и пара за соседним столиком казалась в этом Вавилоне старинной фотографией: они ни разу не встали потанцевать, ни с кем не перебросились даже парой фраз, не открыли телефоны – весь ужин они смотрели друг на друга и тихо разговаривали.

Ближе к концу трапезы я услышала, как она попросила его сходить в бар за новой пачкой сигарет, а он отказался. Полушёпотом, родительским тоном, мешая итальянский и французский, он стал отчитывать её за то, что она слишком много курит. Она не спорила, а слушала его с полуулыбкой, откинувшись на спинку стула, и щелкала короткими ногтями друг о друга. Затем он встал, бросил салфетку на стол, показывая, что ужин окончен, и увел её в номер.

До рассвета я глядела в балдахин над кроватью, мучаясь от бессонницы. В глубине ребер тяжело ворочалась и маялась моя душа: если бы меня, политика и писателя, отчитали за то, что я слишком много курю, – я была бы счастливейшей из женщин.

В шесть утра следующего дня я спустилась к бассейну. Купол неба был белым от не взошедшего еще солнца, размётанные акриловые облака вызолотились изнутри персиковым светом, нежная прозрачность легла на отель и сад. Она

¹ Паштет из гусяной печени (*франц.*).

плавала в бассейне кругами, он стоял в баре недалеко от моего стула и не сводил с нее глаз. Наконец она подплыла к бортику, он взял приготовленный для неё малиновый сок, поднял халат и обернув ее, повел на лежак. Она пила сок и задумчиво смотрела на воду. Он рядом читал газету, изредка бросая на нее быстрый взгляд – всё ли хорошо? она ни в чем не нуждается? У меня навернулись слезы: идеальная пара Адама и Евы в своем собственном, закрытом для всех раю.

Я не заметила, как ко мне подошёл менеджер отеля и, наклонившись к уху, зашептал:

– Она сняла его за десять тысяч евро, мадам. Максимилиан освободится через три дня. Желаете приобрести его услуги?



Страх

Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

А. Чехов

Дорога уходит пыльным асфальтом за горизонт. По обеим сторонам от неё поднимаются высокие звенящие сосны, покрытые, как панцирем, тонкой золотистой корой. Вокруг сосен, впритык к дороге, лежит толстый ржавый ковер из выжженных на солнце иголок. Воздух остр и сладок от хвои, раскален от зноя и от того непрерывного монотонного шума, без которого, кажется, не обходится ни один летний день: верещат цикады, поют перепела, дробно стучит дятел и разливается в небе серебристо-черный жаворонок.

Вдоль дороги, сторбившись от тяжелой сумки, медленно идет бородатый человек. Одежда его покрыта пылью, белые кроссовки посерели и напоминают советские чёботы, на спине и подмышках проступили темные пятна пота. За ним, высунув язык и прикрыв глаза от невероятной духоты, бредет грязная, в колтунах собака. Но вот за спиной человека слышится нарастающий гул машины. Он оборачивается и поднимает руку указательным пальцем вверх. Но легковушка, обдав его горячим выхлопом бензина, проносится мимо.

– Что, дружок, опять не везет? – грустно кивает человек

собаке и, обтерев ладонью пот со лба, бредет по дороге дальше.

Человек и собака доходят до белого столба с надписью «Дорога Жизни, 47». Лес редееет, и глазу распахивается бархатная гладь Ладоги, уходящая в перспективу синего, с акриловыми облаками неба. Искрящиеся солнечные блики до боли режут глаза. Снизу доносится музыка и визги отдыхающих, нос щекочет густой запах шашлыка. Человек без сил прислоняется спиной к столбу и съезжает на корточки. Собака, высунув язык, садится рядом и, наклонив голову, изучающе смотрит на него.

– Ну чего ты так на меня смотришь? – усмехается человек. – И я пить хочу, да нету.

Вдалеке на дороге снова показывается черная точка. Это грузовик. Человек встает, поправляет на плече сумку и поднимает руку. Терпеливо ждет, прикрыв глаза от солнца. Грузовик приближается. Мигает правой фарой и медленно съезжает на обочину. Человек подхватывает сползающую с плеча тяжелую сумку и почти бегом спешит к машине.

– Здравствуйте. До Невской Дубровки не подбросите?

– Доброшу, – лениво соглашается розовый от солнца и пота водитель. – Собаку в кузов посадишь?

Человек послушно поднимает собаку, сажает в кузов и быстро возвращается к кабине, неловко, боком, вскакивает на ступеньку, наступив при этом себе на ногу. Забравшись на сиденье, складывает руки на коленях и покорно устремляет

взгляд на белую раскаленность лобового стекла. Но водитель вывернуть руль на дорогу не спешит, он наклоняется над человеком упитанным телом и протягивает мясистую ладонь:

– Лёха.

– Ваня, – торопливо кивает в ответ человек и осторожно жмет крупную ладонь.

Грузовик возвращается с обочины на дорогу и разгоняется на хорошую сотку. За окном среди зеленого моря хвои мелькают белые марципановые свечи столбов Дороги жизни; иногда проступают в зелени, как проплешины, синие пятна Ладоги.

– Ну рассказывай, Вань, как жизнь. Давно в Дубровке?

– Недавно, – отрывается Иван от созерцания дороги. – В августе три года как переехали.

– Откуда?

– Из Екатеринбурга.

– Был в Ёбурге, хороший город, – живо откликается водитель. Видно, что он соскучился в дороге по общению и хватается за любую возможность поболтать. – Откуда едешь?

– Меня к умирающей в деревню позвали. Туда довели, обратно, сказали, тоже доведут. А бабка причастилась и сразу померла. Хозяйка сказала: ну раз померла, значит, обратно сам доберешься.

Водитель подозрительно оглядывает Ивана: выпавший из футболки широкий нательный крест, борода, собранный на затылке хвостик секущихся рыжих волос.

– Ты чё, поп, что ли?

– Ага, да... поп.

В машине наступает пауза. Очевидно, оба жалеют, что оказались рядом, и каждый начинает потихоньку обдумывать благовидный предлог, чтобы остановить машину.

– Не люблю попов! – с бравирующей откровенностью говорит водитель. – Капец вы лживые! Туда плати, сюда плати. Одна свечка шестьдесят рублей стоит. Бабку свою хотел отпеть, так мне пять штук вкатили! За что? Через год на кладбище попа пригласил, так он пятнадцать минут чёт почитал, кадиллом помахал и говорит: «С вас три тыщи». Я говорю: «Слышь, поп, вот тебе штука, считай, тут даже с чаевыми». Церкви везде понатыкали. Тут недалеко, в Кокареве, в центре микрорайона хорошая детская площадка была, фонтанчики, скамейки, пиво пьешь, за сыном смотришь – кайф. Так теперь на этом месте церковь отгрохали, с фига ли? – Он яростно прогудел медленно ползущему впереди него «Пежо». – У меня у тещи знакомые старики – ей семьдесят девять, мужу восемьдесят четыре, живут в муниципальном доме. Горячей воды нет, толчок на несколько квартир, труба течет, пол сгнил. Из дыр комары лезут, мыши, зимой все по квартире ходят в валенках, летом бабка в коробке спит, чтоб комары не кусали. И вот веришь – каждое воскресенье в церковь ходят, на последние деньги свечки покупают. Я у них спрашиваю: «Зачем?». А они говорят: «Надо за все Бога благодарить. Мы живы, здоровы, дети за границей, слава Богу».

за все». Вот эти люди вам последние деньги несут, а вы им в уши дуετε. У патриарха поезда, самолеты, яхта. Ладно там в правительстве все воры, это понятно, но вы ж в Бога верите, с фига ли воровать?

Снова в машине наступает пауза. На этот раз совсем неприятная. Иван опустил руки между колен, сидит сгорбившись; на лбу вспучиваются капли пота и скатываются в рыжую бороду. Слышно, как в кузове тяжело, хрипло и часто дышит собака.

– Как собаку-то звать?

Иван вздрагивает.

– Не знаю. Прибилась ко мне, пока я вдоль дороги шел. Ни на шаг не отставала. Да я не против, у меня дети дома, обрадуются.

– Много детей?

– Четверо.

Небо быстро затягивается плотными серыми облаками, воздух сереет, блекнет, поднимается ветер и широкой волной приминает верхушки сосен, взвивает в воздух столб пыли, кружит ржавые иголки. Даже сквозь стекло чувствуются предгрозовая влага и духота.

– Знаете... вы правильно все говорите. – Иван не смотрит на водителя, он смотрит в лобовое стекло на пустую, уходящую в никуда дорогу. – Вот вы говорите... священники много зарабатывают, на машинах ездят. А я вот без машины. То есть она, конечно, есть, но сломалась, а починить денег

нет. Это, может быть, в Питере или Москве батюшки хорошо живут, а у меня что здесь, что в Екатеринбурге – приход в селе. Мы зарплату ведь не получаем, живем на самообеспечении. Вот смотрите, – он несколько оживился и даже обернулся к водителю. – В Дубровке живет три тысячи человек, а в храм ходит один процент, это значит, что в воскресенье в церкви будет тридцать человек. Средняя зарплата у них двадцать – двадцать пять тысяч, из них десять процентов идет на храм – свечи, молебны, отпевания, – и получается, что мой храм в месяц имеет где-то в среднем шестьдесят тысяч. На Пасху, конечно, больше, а летом очень плохо, потому что все разъезжаются. Из этих шестидесяти тысяч я должен часть отдать епархии – это налог, часть идет на ремонт храма, затем коммуналка, зарплата дьякону, хору, сторожу, свечнице, и вот то, что остается, я несу домой. А это десять-двенадцать тысяч. Но иногда к нам приезжает архиерей или епископ, и тогда нужно в конверте отдать деньги. Это пожертвование, и дать надо много, иначе он обидится, и меня переведут в другое место, хуже, чем это. А еще надо встретить его цветами, закатить банкет. А где деньги на это взять? Мне один священник знакомый сказал: наши матушки или дуры, или святые – ни денег, ни мужей. Меня ведь дома не бывает. Священник же всем должен, это же какое-то бесправное, бесхребетное существо – я должен по первому звонку ехать к умирающему, находить удобное для всех время, подстраиваться под тех, кто хочет освятить, покрестить,

исповедоваться. Мне звонят и утром, и вечером, и ночью, и я обязан висеть на трубке, отговаривать от самоубийства, развода, аборта. Я обязан всем – епископу, благочинному, людям, семье, вам, – он впервые повернулся к водителю, и лицо его покраснелось, и было заметно, что и у него накопелось, но он не знает, какие подобрать слова, где взять дыхание, чтобы выговорить душившую его боль. – И всех тянет поговорить, выплеснуть проблемы, обсосать сплетни, ведь батюшка – это и психоаналитик, и социальный работник, и психотерапевт, и, бывает, обижаются, если с ними не так поговоришь. И ты думаешь: «Господи, да за что же мне это? Я ведь тебе служу, ну помоги мне, Господи!» Сил уже нет – жена от нищеты осатанела, на детей кричит, на меня. А какая была красавица, память имела фотографическую, три языка знала, работала филологом! А потом замуж за меня вышла, и пошла маята по селам. И всем надо помочь, и всегда улыбаться, и срываться нельзя, нельзя пить. Знаете... – Иван снова повернулся к водителю, придвинулся на этот раз почти вплотную и заговорил быстро, возбужденно, почти нервно: – Есть такой анекдот: заходит в подъезд дальнобойщик – пьяный, и соседи понимают – ну, это же дальнобойщик, он устал; потом заходит молодая мамочка – тоже поддатая, и все ей сочувствуют; учительница заходит, и снова все всё понимают – сейчас такие дети, от одного их вида запьешь. А потом приходит батюшка в стельку пьяный, и все сразу осуждают – а, поп, нажрался! Вот вы какие, попы... жируете. А у меня зимой

ворота сгнили, я боялся, что они под тяжестью снега рухнут на детей, а сварщик берет пятьдесят тысяч, а где мне взять такие деньги?

Водитель равнодушно пожимает плечами – весь этот слезный, унижительный монолог никак его не затронул и, судя по выражению лица, даже утомил.

– Работай в другом месте, в чем проблема?

Иван торопливо вытирает узкой ладонью лоб. Продолжает говорить торопливо, волнуясь:

– Я когда учился в семинарии, то мечтал о настоящем подвиге, о пастырском служении, мечтал идти в деревни, поднимать церковь. Мне казалось, нет ничего прекраснее служения людям и Богу. А потом я увидел, что церковь делает с людьми, как она манипулирует ими, привязывает к себе через страх. Вот вам пример – в Откровении написано: спасутся немногие. А какие эти немногие? Ведь страдают-то все. Все задавлены одной проблемой: где взять деньги? И ведь людям надо-то немного: курточку сыну, платьице дочери, жене бусы к Новому году, стариков побаловать. Но нет даже этого, потому что всё заработанное приходится отдавать – в банк, в ЖКХ, чиновникам, в церковь, в школы. А ведь русский человек будущим живет, он думает: пусть сейчас я страдаю, но зато после смерти в раю жить буду, за всё мне воздастся. А ему говорят: нет, не будешь – спасутся немногие, самые верные, а остальные – в ад, потому что ты грешен по определению. И он этому верит. И боится. И живет

в страхе. Да за что же это? Ведь человек страдает, мучается, он последнее отдает, он детям при свете керосиновой лампы игрушки чинит, потому что электричество отключили за неуплату, а ему говорят: ты недостойн. А я бы такого человека на руках в рай внес, потому что он – единственный, кто Бога достоин, потому что Бог умер за таких. Этот маленький человек всю жизнь ищет сокровище в священниках и даже не знает, каким сокровищем является сам. А всё потому, что мы родом из рабства – сначала из царского, потом из советского. Поэтому нас легко запугать.

Грозовая туча прорвалась, и начался дождь. Он падал крупными каплями на лобовое стекло, размазывая картинку неба и зелени.

Водитель скривился.

– То есть ты в полах из страха?

Машина наскочила на выбоину на дороге, Ивана мотнуло к лобовому стеклу и отбросило назад. Было слышно, как в кузове собака ударилась о борт грузовика и завывала от боли. Дождь участился и забил дробным стаккато по крыше.

Лицо Ивана стало страшным – губы сжались в белую злую полоску, глаза расширились, ноздри распахнулись.

– Страх? – зашипел он истеричным шепотом, повернувшись к водителю. – Да, страх. Я боюсь... Один неверный шаг, и будет хуже. Ты в курсе, кто такой Молох? В древнем Карфагене был идол с головой человека и телом быка, так вот... когда евреев окружали враги, то женщины приносили

в жертву этому Молоху своих детей, и враги отступали. Мою жену и детей сожрал идол. Я боюсь уйти из сана, потому что это грех. Я не ем скоромного в среду и пятницу не потому, что Бога люблю, а потому, что боюсь. Вот спроси меня, чего я хочу. А я и не знаю. Я все время чувствую себя в каком-то коридоре – вышел из одной комнаты, а в другую не попал. Иногда... иногда я думаю, как было бы хорошо кондитерскую свою открыть, мне очень нравится шоколад делать. То есть я... я не пробовал никогда, но смотрел в Интернете. Мы бы с детьми вместе варили...

Быстрая речь утомила его, он закрыл лицо руками и обмяк. Хвостик секущихся волос на затылке взмок от пота.

– Иногда я думаю: ведь есть же другая жизнь, где, наверное, у людей все хорошо. Только мне в эту жизнь нельзя. Но я верю, что после смерти за все воздастся. Еще Чехов сказал: «Мы увидим небо в алмазах, услышим пение ангелов и отдохнем».

Дождь закончился так же внезапно, как начался. Над лесом у кромки неба засветлела белая полоса. Водитель съехал на обочину и остановил машину.

– Слушай, может, ты выйдешь, а?

Иван встрепенулся, поднял голову от рук, сконфузился.

– Да-да, извините... Конечно. Спасибо, что подвезли! Спасибо!

Он неловко открыл дверцу грузовика и спрыгнул на обочину. Щелкнул задвижкой, и из кузова, заливаясь лаем, вы-

прыгнула на него собака. Водитель видел сквозь лобовое стекло, как они вдвоем брели вдоль дороги. От дороги к полю вели две тропинки – одна широкая, покрытая лужами и грязью, а вторая неприметная, скрытая от глаз травой, но зато сухая и чистая. Не заметив её, Иван свернул на первую и наступил белыми кроссовками в грязь. Фонтан темных капель покрыл его штаны, футболку и попал на собаку. Она села в траву и обиженно заскулила. Не останавливаясь, Иван продолжил идти по грязной дороге к виднеющейся на краю поля темной деревне.

– Дурак, – усмехнулся водитель и, вывернув на дорогу, поехал дальше.

Человек шел по полю, низко опустив голову. Стебли иванчая и полыни больно хлестали его по ногам. Над землей, почти касаясь травы, носились стрижи и ласточки и кричали отчаянными человеческими голосами. Невыносимо парило, и небо казалось мёртвым.



Танго²

*Когда человек долго вглядывается в бездну,
бездна начинает вглядываться в него.*

Ницше

Всюду, куда хватало глаз, паслись отары овец. Пенное море шерстяных облачков спускалось с подножий гор и подползало к самой кромке залива, из черной воды которого поднимались мрачные, похожие на чудовищ треугольные скалы.

Сеньора Рихардо застегивала на сгибе локтя перчатку для верховой езды. Закрепив пуговичку в лунке петли, она взяла с подоконника ременную плетку и бросила взгляд в окно – над белоснежными хребтами гор клубился нехороший туман.

– На днях снег пойдет, надо заказывать корма.

Муж ответил флегматично, не отрываясь от газеты:

– Съезжу к ним после праздников.

Сеньора покачала головой:

– Нет, это поздно. С ледников идет снег. Звони в контору, пусть привозят сегодня, в крайнем случае завтра.

Муж отложил газету и скользнул взглядом по фигуре жены, стоявшей возле огромного окна, обрамленного черной дубовой аркой: выпирающие из-под жилетки острые бугорки

² Рассказ удостоен премии «Золотое перо Руси» 2021 года.

лопатов, худые руки, стянутые перчатками, угловатые штрихи талии, лира таза, облитая кожаными бриджами, впадающими, словно ручей в полноводную реку, в плотные ловкие краги с твердым деревянным каблуком и острыми шпорами.

– Как скажешь, душа моя, сегодня так сегодня.

Повернувшись к столу, сеньора схватила вафельку, обмазанную коричневой вареной сгущенкой, и та хрустнула у нее на зубах. Поставив колено на стул, наскоро отхлебнула кофе из большой глиняной кружки, чем-то напоминающей пивную.

– Ты совсем не поела.

– Пообедаю в городе. Люблю тебя.

Поставила кружку и, наклонившись к мужу, вытянула губы в трубочку. Они наскоро поцеловались, почти не прикасаясь друг к другу, как целуются люди, слишком долго прожившие в браке: уже без страсти, почти машинально, скорее по привычке испытывая потребность в нежности.

– И я тебя, душа моя, – он снова взялся за газету. – Как думаешь, на сколько завтра ставить будильник?

– Думаю, на четыре... Или раньше, может? – она прищурилась. – Нет, на четыре. Всё, до вечера! – сеньора выскочила из залы и быстро сбежала по ступеням, громко стуча каблуками и шпорами. Перед тем как захлопнуть входную дверь, крикнула:

– Не забудь про контору!

Возле крыльца пожилой индеец с лицом, словно из грубо

высеченной бронзы, держал под уздцы черную, узконогую, гладкую, как сливочное масло, криолло с единственным белым пятнышком во лбу. От утреннего холода и нетерпеливого ожидания скачки лошадь перебирала копытами по влажной земле, взрывая фонтаны красновато-черной почвы.

– Buenos días, señora.

Сеньора легко оперлась точеным носком сапога о стремя, почтительно придержанное для нее черными, узловатыми, как у лешего, пальцами индейца, и влетела в седло.

– Buenos, Kvatoko.

– Cuándo podré ser libre? Mi casa está muy lejos, lo sabes. (Когда я могу быть свободным? Мой дом далеко.)

– Dar de comer a los caballos y si traen alimento, ayudar con la descarga. Puedes ir después del almuerzo. (Выведи лошадей на выпас и съезди с сеньором за кормами. Потом ступай домой.)

– Gracias señora. Felices vacaciones (Спасибо, сеньора. Счастливых праздников.)

– Felices vacaciones, Kvatoko! (Счастливых праздников, Кватоко.)

Сеньора натянула вожжи, сжала шпорами блестящие, отливающие глянцем бока лошади и хлестнула ее по крупу. Криолло заржала, вскинула голову и взяла в галоп.

Массивный каменный дом с круглыми, серого кирпича башнями стал медленно удаляться. На горизонте из-за заснеженных хребтов выплывал слепящий прожектор солнца, обливая розовато-сиреневым светом километры пастбищ с

низкорослой кудрявой растительностью и лежащими на земле почти плашмя из-за никогда не прекращающегося ледяного порывистого ветра деревьями. На много миль вокруг – только пампа и разрушенные, давным-давно оставленные хозяевами фермерские домики, мебель в которых покрылась пуховиками пыли, а в кухонных горшках и кастрюлях, обмотанных паутиной, поселились игуаны.

* * *

В гостиную, смущенно кашлянув, зашел индеец Кватоко.

– Mmm? – промычал, не поворачиваясь к нему, сеньор.

– Те... una nota. (Вам... записка.)

Сеньор, не отрываясь от статьи о правительстве, разбазаривающем народные деньги на фейерверки в честь Иосифа-труженика, спросил:

– Por quién? (От кого?)

– No se, aquí en un idioma extranjero. (Не знаю, тут на иностранном.)

Сеньор медленно повернулся к индейцу. Тот подал ему небольшой квадратный листок, на котором четким, летящим вверх почерком было написано два слова – «Я здесь» – и две буквы – «И.Г.». Дрожащими руками сеньор положил газету на стол, снял и бросил поверх неё очки. Его приятно красивое лицо с мохнатыми бачками внезапно стало напоминать дурную туалетную бумагу.

– Quien lo trajo? (Кто её принес?)

Кватоко задумчиво почесал голову.

– No es local. No lo conozco. (Он не из местных. Я его не знаю.)

Рука сеньора сжала записку в кулак. Невидящим взглядом он посмотрел в окно на бескрайнюю, протянувшуюся от горизонта до горизонта равнину степи.

Кватоко кашлянул.

– Me necesita hoy, señor? Irás por la rora? (Я сегодня еще буду нужен, сеньор? Вы поедете за кормами?)

Но сеньор не отвечал.

– Si no me necesitas, puedo ir? (Если я вам не нужен, я могу быть свободным?)

Сеньор сидел сгорбившись, постарев лет на пять. Уставшими глазами он смотрел на черную точку ястреба, распластавшего в голубом небе свои когтистые крылья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.